

Опубликовано в журнале:

[«НЛО» 2013, №121](#)

БИБЛИОГРАФИЯ

**Александр Осипян**

## **«Самые опасные книги», исторические мифы и ответственность интеллектуалов**

(Рец. на кн. : Krebs Ch.B. *A Most dangerous Book: Tacitus's Germania from the Roman Empire to the Third Reich*. N.Y.; L., 2011; Plochy S. *The Cossack Myth: History and Nationhood in the Ages of Empires*. Cambridge; N.Y., 2012)

### **«САМЫЕ ОПАСНЫЕ КНИГИ», ИСТОРИЧЕСКИЕ МИФЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ<sup>[1]</sup>**

*Krebs Ch. B. A MOST DANGEROUS BOOK: TACITUS'S GERMANIA FROM THE ROMAN EMPIRE TO THE THIRD REICH*. — N.Y.;L.: W.W. Norton & Company, 2011. — 303p.

*Plochy S. THE COSSACK MYTH: HISTORY AND NATIONHOOD IN THE AGES OF EMPIRES*. — Cambridge; N.Y.: Cambridge University Press, 2012. — 402 p.

В своих монографиях Сергей Плохий и Кристиан Кребс рассматривают процессы конструирования базовых исторических мифов двух наций — немцев и украинцев. Обе книги выделяются из постоянно растущего ряда подобных исследований, направленных на освобождение истории от бремени национальной мифологии. Не менее интересно и то, насколько разными путями оба исследователя пришли к этой проблематике.

Кребс дает прекрасный образец формирования исторического мифа в интеллектуальной среде, его распространения за пределами этой среды и, наконец, принятия на вооружение государством. Он показывает, как формировался интеллектуальный инструментарий (как в гуманитарных, так и в естественных науках, как за пределами, так и в самой Германии), с помощью которого миф приобретал все новые грани. Исследователь подводит читателя к мысли, что отрывки из «Германии» Тацита на разных этапах подвергались разным интерпретациям с самыми различными намерениями и только на заключительной стадии исторический миф приобрел новое содержание, о котором не могли догадываться представители долгой чреды интерпретаторов.

Благодаря изящно написанной книге Плохия западный читатель узнает, что Украина — это не только «кровавые земли между Гитлером и Сталиным»<sup>[2]</sup>, населенные «неожиданной нацией»<sup>[3]</sup>, но еще и весьма интересная лаборатория интеллектуальной истории, открывающая широкие возможности для изучения самых неожиданных хитросплетений национальных и имперских идентичностей.

\* \* \*

Хотя эти две книги посвящены столь разным странам и объектам исследования, а их хронологические рамки несопоставимы, нам кажется возможным сравнить их. С одной стороны, это позволит рельефнее увидеть современные тенденции в интеллектуальной истории. С другой, поможет увидеть отличия, истоки которых, по нашему мнению, находятся за пределами академической сферы, будучи укоренены в разных способах переосмысления прошлого в странах происхождения исследователей.

У Кребса и Плохия много общего. Оба работали над своими книгами почти одновременно, будучи преподавателями Гарвардского университета. Оба автора гуманитарии: филолог-античник с интересом к истории последующих эпох и историк с интересом к текстологии. Оба некоренные американцы: Кребс родился в Германии и учился в университетах Берлина, Киля и Оксфорда; Плохий как историк сформировался в Днепропетровском университете, защищался в Университете дружбы народов в Москве и Киевском университете<sup>[4]</sup>. Вместе с тем, у них есть и серьезные отличия. «Самая опасная книга» — первая монография Кребса на английском<sup>[5]</sup>. Плохий — автор восьми монографий (в том числе семь издано за последнее десятилетие на английском языке), признанный авторитет в исследовании истории Восточной Европы<sup>[6]</sup>.

Интеллектуальные траектории Плохия и Кребса также обнаруживают сходство и различия. Первоначальный ареал своих исследований сочинений древнеримских историков Кребс расширил за счет изучения того, как их воспринимали гуманисты в XV—XVI вв. В «Самой опасной книге» он продолжил эту линию (интерпретация

«Германии» Тацита), включив в свой круг интересов также барокко, Просвещение, XIX в. и первую половину XX века. В этом же направлении, но намного медленнее и основательнее движется и Плохий — от изучения религиозной жизни на украинских землях и истории казачества в XVI—XVII вв. он перешел к изучению формирования доподерных идентичностей в Восточной Европе и украинской историографии XIX—начала XX в. Также его перу принадлежит монография о Ялтинской конференции 1945 г. и ее последствиях. Из интервью Плохия (январь 2012 г.) известно, что после публикации «Казацкого мифа» он планирует заняться исследованием процессов распада СССР и провозглашения независимости Украины в 1991 г. Таким образом, оба автора, хотя и разными путями, вступили в сферу исследований национализма, национальных идентичностей и исторических мифов.

Свою книгу Кребс начинает с очерка, в котором описывает политическую жизнь в Риме I в. н.э. (известную прежде всего по «Анналам» и «Истории» Тацита) и пытается реконструировать мотивацию Тацита, побудившую его взяться за написание «Германии» — первого известного нам целостного этнографического сочинения. Выходец из привилегированного сословия «всадников», достигший высот служебной карьеры к концу I в. н.э., Тацит не стал писать о современных ему счастливых временах Траяна и Адриана, обратившись к предшествующей эпохе правления династий Юлиев—Клавдиев и Флавиев. Эта эпоха, наступившая после окончания «золотого века Августа» в 14 г. н.э., была весьма трагической для аристократии, подвергшейся преследованиям в правление императоров Тиберия, Калигулы, Нерона и Домициана. По мнению Кребса, «Анналы» и «История» Тацита являются своеобразной «археологией тирании» (с. 53). Кребс убедительно показывает, что традиционный для римской историографии мотив «падения нравов» был необычайно обострен и драматизирован Тацитом. Во всех своих сочинениях Тацит старался проследить, как ценности подвергаются испытаниям социальными и политическими обстоятельствами. В «Диалоге ораторов» Тацит рассуждает о причинах упадка красноречия в Риме и подводит читателя к мысли, что упадок этот есть следствие политической трансформации — утратили свое значение республиканские институты, исчезла и публичная сфера для приложения красноречия.

Первое известное нам произведение Тацита — «Жизнеописание Юлия Агриколы», расширенная надгробная речь, произнесенная Тацитом в 98 г. н.э. после смерти его тестя — Юлия Агриколы, римского полководца времен императора Домициана, была призвана иллюстрировать мысль, что «даже при плохих правителях можно оставаться порядочным человеком» (Агрикола 42.4). Подобная мысль должна была неоднократно приходиться в голову Тациту, сделавшему карьеру в правление «плохого правителя» Домициана. Для Тацита было очевидно, что римляне утратили свои достоинства (явные и вымышленные). Кребс считает, что «при таких обстоятельствах свободу можно было обрести только во внутренней эмиграции или за пределами империи, например среди германцев» (с. 53). Давая характеристику правления императора Домициана (81—96 гг.), среди прочих недостатков (явных или вымышленных *post mortem* сенаторами-оппозиционерами), Тацит упоминает триумф 83 г. над германским племенем хаттов. Согласно Тациту, Домициан устроил этот триумф еще до похода в германские земли («пленные германцы» для триумфа были куплены и переодеты), чтобы иметь возможность присоединить к своим именам имя Германик, как поступали многие его предшественники после побед над опасным северным соседом. Этот поступок Домициана дал повод для злословия его оппонентов. Кребс выдвигает предположение, что через два года после убийства Домициана Тацит написал «Германию» из-за еще свежего в памяти «ложного триумфа» (с. 38). Как известно, античные авторы устраивали публичные чтения своих произведений. В случае с «Германией» его аудиторией были сенаторы и, возможно, император Траян, прибывший в Рим после побед над северными варварами. Как нам кажется, «Германия» Тацита должна была восприниматься слушателями как еще один выпад против «плохого императора» и завуалированное наставление новому, о котором в Риме мало что было известно. Таким образом, Кребс абсолютно справедливо указывает на то, что всякое произведение писалось для определенной аудитории и те смыслы, которые автор вкладывал в текст, можно адекватно понять, только если максимально вникнуть в темы и проблемы, волновавшие современников автора (с. 24).

Нет никаких данных, хотя бы косвенных, которые позволяли бы предположить, что Тацит бывал в землях германских племен или хотя бы в пограничных с ними провинциях. Вслед за Эдуардом Норденом, немецким антиковедом начала XX в., Кребс полагает, что, хотя Тацит мог воспользоваться информацией от купцов, бывавших в германских землях, а также сведениями, полученными от германцев — пленных и воинов на римской службе, в основе его нарратива — хорошо разработанные в греко-римской литературе «этнографические» описания «варварских» народов. Достаточно вспомнить описание Геродотом скифов или египтян. По мнению Нордена и Кребса, Тацит воспроизвел эти клише в описании германцев, прежде всего, в утверждении, что «этот народ не смешан с другими и не похож ни на какой иной». Если сравнить «Германию» Тацита с прочими его сочинениями, то очевидным становится противопоставление упадка нравов и изощренной тирании у римлян и суровой простоты германцев, «цивилизованной несвободы» и «варварской свободы». Таким образом, делает вывод Кребс, «Германия» Тацита — это утопия. Это произведение следует рассматривать не как этнографическое описание некоего народа или племен, но как «образную рефлексию римлянина над человеческими ценностями и как политический памфлет» (с. 25).

В Средневековье сочинения Тацита не пользовались популярностью. Ситуация меняется в эпоху Возрождения. В XV в. «Германию» Тацита начинают целенаправленно разыскивать итальянские гуманисты. Эта глава — одна из лучших в книге Кребса. Автор показывает сложное переплетение интриг и конкуренции в узком кругу гуманистов, в частности стремление заполучить единственную (?) рукопись «Германии», хранившуюся в Герсфельдском монастыре. Кребс реконструирует перипетии этих интриг на основании переписки гуманистов Поджо Браччолини и Никколо Никколи в 1425—1429 гг. Отправленный папой Николаем V в Германию для поиска рукописей античных авторов, Энох из Асколи привез находки в Рим в 1455 г., когда папа уже умер. После смерти самого Эноха в 1457 г. рукописью «Германии» завладел Эней Сильвио Пикколomini, кардинал Сиены (в 1460—1464 гг. папа римский Пий

II), и в 1458 г. использовал ее в своем «Описании Германии» (издано в 1494, 1515, 1551). С этого момента «Германия» Тацита рождается заново как авторитетный текст, используемый современниками для обоснования их заявлений и претензий.

«Германия» попала в Рим в период усилившегося напряжения в отношениях между папской курией и императором. Росло недовольство немцев тем, что огромные суммы в виде различных сборов уплывают в Рим, а в самой Германии Римской церкви принадлежат огромные владения. В начале XVI в. это недовольство стало одной из главных причин немецкой Реформации. Но уже во второй половине XV в. оно нашло отражение в отношениях политических и интеллектуальных элит. Когда настоятель одного немецкого монастыря Мартин Мейер написал кардиналу Пикколомини письмо с жалобами на притеснения Германии папской курией, тот в ответ составил развернутый трактат в защиту Римской церкви. Если Мейер писал о могуществе средневековой Империи, принявшей на себя защиту христианского мира, и ее тяжелом состоянии ныне, то Пикколомини использовал другую стратегию — он противопоставил варварскую Германию дремучих лесов современной Германии процветающих городов. Заслуга же этой трансформации целиком принадлежит Римской церкви, просветившей некогда диких германцев. Таким образом, именно Пикколомини впервые идентифицировал современных ему немцев как прямых потомков древних германцев, выстроив между ними этническую преемственность. Следовательно, именно итальянские гуманисты заложили основание последующего использования «Германии» в конструировании германского мифа как важной составляющей немецкой идентичности. Когда «Германия» Тацита была переиздана в немецких землях в 1476 г. (самое первое издание: Болонья, 1472), мало кто из немецких читателей обратил на нее внимание. Однако после публикации «Описания Германии» Пикколомини в 1496 г. немцы обратились к первоисточнику в поисках аргументов для отповеди итальянцу. Уже в 1500 г. вышло в свет второе издание «Германии» в немецких землях. В следующие полстолетия было напечатано 6000 экземпляров. «Немецкие гуманисты были разгневаны и спровоцированы изучить "Германию", чтобы попробовать создать собственные образы Германии». Как метафорически пишет Кребс: «Когда родились германцы, злость была повитухой» (с. 91).

Неприязни в отношении итальянских и немецких гуманистов добавил и Джанантонио Кампано, отправленный папой Павлом II на имперский сейм в Регенсбург. В специально написанной речи (издана в 1487 г.) Кампано расхваливал силу и благочестие древних и современных ему германцев. Однако в письмах друзьям в Италию он писал про алкоголизм, обжорство и неотесанность немцев (и те, и другие черты отмечены Тацитом в «Германии»). В 1495 г. эти письма были напечатаны в собрании его сочинений и вызвали гнев немецких гуманистов.

Еще один итальянец продолжил дело, начатое его предшественниками. Доминиканец Джованни Нанни (Анниус из Витербо) стал автором одной из наиболее масштабных фальсификаций эпохи Возрождения. В 1498 г. он издал «Древности» («Antiquitates») — сборник сфабрикованных им 17 «древних» трудов. В частности, он обеспечил древних германцев престижной генеалогией — предком германцев он объявил Туиско, сына Ноя/Януса. Эту вымышленную генеалогию он подтверждал и ссылками на Тацита. «Древности» Джованни Нанни оказались ценным и своевременным подарком для немецких гуманистов, ибо, несмотря на антиитальянские настроения, они ориентировались на латинские образцы и сочинения итальянских гуманистов. Отсутствие политического единства в Империи способствовало формированию «общей германской родины» в сочинениях немецких гуманистов. «Эта "германская нация" обозначалась через культуру с особой отсылкой к общему и морально высшему прошлому» (с. 106—107). Утонченным, но развращенным интриганам итальянцам были противопоставлены немецкие «автохтонность и чистота, свобода, храбрость и верность, вместе с простотой нравов», унаследованные от германских предков (с. 111). Так началось формирование *германского мифа*.

Одновременно с восхвалением моральной чистоты, свободы и воинственности германцев немецкие гуманисты начали приписывать им и некоторые цивилизованные черты. Конрад Целтиус в поэме «Germaniageneralis» добавил к германским качествам занятие ремеслами, виноделием и земледелием. Генрих Бебель в сочинении «Indiginae» (1509) противопоставляет автохтонную германскую нацию известной легенде об основании Рима, согласно которой Ромул объявил новый город убежищем для всех и туда отовсюду стекалось всякое отребье. Иоганн Турмаер/Авентинус в «Немецкой хронике» (1541) и «Баварской хронике» (1556) «воссоздал» биографию первого германского правителя Туискона и родословную германских королей. Все эти авторы превозносили простоту нравов германских предков, подчеркивая, что вместе с искусствами в Германию из Италии проникли моральные пороки (с. 125). Противопоставление «развратного Рима» и «нравственных германцев» было на руку и деятелям Реформации. Филипп Меланхтон, ближайший сподвижник Мартина Лютера, издал «Германию» в 1538 и 1557 г. Иоганн Эберлин фон Гюрцбург в 1526 г. перевел «Германию» на немецкий, убирая при этом из текста все, что считал вредным. Так, всего за тридцатилетие германские предки были полностью обозначены и охарактеризованы. Следующие поколения читателей «Германии» лишь слегка модифицировали для своих потребностей то, что уже сделали гуманисты.

Таким образом, интеллектуальное соперничество итальянских и немецких гуманистов заложило основы «германского мифа», поместив в его центр описание германцев Тацитом.

Травматический опыт Тридцатилетней войны (1618—1648), когда иностранные армии разоряли германские княжества, сделал «германских предков» еще более востребованными. Поскольку немецкая знать пребывала в плену французского языка и моды, то на первый план теперь выдвигается восхваление немецкого языка. Он подается как древний, поэтический и чистый, значит, несомненно, «наилучший и самый богатый» (с. 134). Филипп Ключев («Germania antiqua», 1616) выводит истоки немецкого языка от времен Потопа. Мартин Оплиц из упоминания Тацитом пения (barditus) у древних германцев производит бардов-певцов (как у кельтов). Наконец, Юст Георгий Шоттелиус заявляет, что немецкий, так же как еврейский, греческий, латинский и славянский, относится к древним

оригинальным языкам (HauptSprache), от которых происходят все остальные. Так выстраивается непрерывная лингвистическая преемственность (с. 150—151). При этом они не упоминали человеческих жертвоприношений, о которых писал Тацит.

Дойдя до эпохи Просвещения, Кребс вновь подчеркивает иностранное влияние — французское, которое на этот раз было уже не объектом критики немецких патриотов, но источником их вдохновения. Речь идет о «Духе законов» (1748) Монтескье, который во второй половине XVIII в. воспринимался как трактат о природных, социальных и политических законах. Главным для Монтескье было отношение этих законов к географическим и климатическим условиям, региональным нравам и обычаям, политическим и религиозным институтам. Все вместе они формируют характер народа. Так возникает антропогеографическая теория, согласно которой национальный характер и уровень моральности зависят от уровня температуры (климата). Как писал Монтескье (после поездки в Англию), прекрасная политическая система Англии была изобретена в лесах Германии. Наконец, Монтескье изменил традиционную семантику севера — ранее выступавший как дикий, он стал рассматриваться как колыбель свободы, «прекрасной системы» британского парламента.

Эти интеллектуальные сдвиги позволили прусскому министру фон Герцбергу в 1780 г. заявить в речи в прусской Академии наук, что германцы превосходили римлян, разгромили Римскую империю и на ее месте создали монархии современной Европы. Германия/Гевтония — единственная страна Европы и мира, которая никогда не была завоевана. «Это все та же автохтонная и туземная нация, сохранившая независимость, название и язык от своего возникновения и до сего дня» (с. 157).

Когда в 1753 г. А.Г. Кастнер перевел Монтескье на немецкий, он не смог найти эквивалента французскому «esprit». Только в 1760 г. впервые было использовано немецкое соответствие «Geist» (с. 162). Начинаются поиски немецкого «народного духа» (Volksgeist). Если немецкие гуманисты писали о древних германцах как о свободных от римской тирании, то теперь стали считать, что немцы были *всегда свободны* от иноземного правления. Монтескье в эпоху абсолютизма видел в древней «Германии» прообраз свободного общества с балансом власти и народным собранием, ограничивавшим власть королей. В ходе развернувшихся 1765—1769 гг. дебатов был поставлен вопрос: кому принадлежит дух — элите или народу? В итоге национальный дух был прикреплен к «Германии» Тацита, а идеи Монтескье получили дальнейшее распространение.

Национальный дух был закреплен за народом (Volk) в «Истории Оснабрюкке» (1768) Юста Мёзера. Во Введении он указывает на разрыв своей книги с традиционным немецким историописанием: в центре внимания автора «саксы, возделывающие земли своих предков», а не короли и князья, поскольку именно эти земледельцы воплощали национальный дух. Это также история упадка и унижения, поскольку свободные крестьяне, которые сами собой управляли, возделывали свою землю и защищали свои общины (свобода и автаркия), впоследствии деградировали в несчастных крепостных. Однако Мёзер преднамеренно неправильно перевел текст Тацита («Германия», 12.3) о прямых выборах в народном собрании — слишком велико было искушение найти республику у древних германцев. Мёзер подчеркивал, что именно простонародье составляет хребет нации.

Кребс не только указывает, что формирование «германского мифа» было в значительной степени ответом на внешние вызовы (итальянский и французский), но и подчеркивает нелинейность этого процесса, отрицание телеологической линейности в рамках национальных исторических нарративов. Так, король Пруссии Фридрих II, который впоследствии был превращен в одну из важнейших составляющих немецкой исторической памяти, а для соседних народов стал воплощением немецкого милитаризма, на самом деле был франкофоном. Формирование основ представлений о нордическом духе и нордической расе происходило при дворе его современника, короля Дании Фридриха V, и в значительной степени было осуществлено усилиями придворных франкоязычных интеллектуалов.

Именно швейцарец-франкофон Поль Анри Малле обратил внимание на древнескандинавскую поэзию и включил перевод отрывков «Эдды» в свои «Памятники кельтской мифологии и поэзии, в особенности древних скандинавов» (1753), реконструировав «нордический пантеон». Публикация стала сенсацией для франкоязычных читателей. Почву для подобного восприятия подготовил Ж.-Ж. Руссо, отдававший предпочтение начальному состоянию человека и его естественной, первобытной культуре как более желательной парадигме в сравнении с городской рукотворностью. Пробудился интерес к «руническим камням», а рунические письмены воспринимались как указание на высокий уровень культуры древних германцев.

Также при датском дворе обосновался немец Генрих Вильгельм фон Герстенберг, издавший «Скальдическую поэзию». По мнению Кребса, это знаменовало изменение парадигмы — отныне немецкие поэты могли отказаться от античной мифологии, как уже ранее они отказались от латыни, ради своей оригинальной нордической мифологии. При дворе Фридриха V писал пьесы и поэмы Фридрих Готтлиб Клопшток, стремившийся к возрождению бардической поэзии.

Иоганн Готфрид Гердер нордическую мифологию считал немецкой, поскольку она происходит от соседнего германского племени. Гердер также опирался на Монтескье («Мысли при чтении Монтескье»), но он пошел дальше, «считая нацию органическим целым, питающим свой дух мифическими свойствами, и заявляя, что одни только низшие формы народного искусства являются истинными» (с. 177—178). Безыскусные песни древних поэтов, по Гердеру, несут в себе *немецкий дух*. Они сохранились в фольклоре. Если среди элиты много франкофонов, то их нет среди «большой почтенной части публики, именуемой народ, говорящей, поющей и думающей на родном языке». Кребс убежден, что «Гердер верил, что простонародье — это истинные носители [национального] духа. Дух немец

кого народа был в его людях. В трудах Гердера далеко продвинулась трансформация термина "народ" (Volk) из преимущественно социополитического в идеологический. Он использовал "Volk" и "нацию" как синонимы не из-за недостатка внимания, а по убеждению» (с. 180). Мысли Гердера укрепили то, что ранее было сформулировано Клопштоком, Малле, Мёзером и Монтескьё. «Так же как и они, он опирался на Тацита, когда использовал культурные критерии для обозначения немецкой нации, ее мистический дух жив в прошлом, а в настоящем все еще сохранился в языке и традициях Volk» (с. 180). По мнению Кребса, «национализм Гердера не был шовинистическим: требования/потребности, которые он обозначил для немцев, — крепкие объятия их собственных слов, мифов и поэзии, а право на самоопределение — применимо ко всем народам, соединенным в его оптимистическом понимании человечества. Гердер никогда не говорил о кровном родстве (bloodlines) и определенно отрицал термин "раса" из-за его неопределенности. Однако Volki его дух начали жить своей особой жизнью» (с. 181).

Поражения от Наполеона и ликвидация Священной Римской империи германской нации в 1806 г. стали еще одной травмой, спровоцировавшей обращение к «немецкому духу» и особой миссии немцев — освобождению Европы от тирании Наполеона. «В отсутствие политической нации националисты еще глубже отступили в культурную сферу, укрепляя язык, право и, более всего, историю как бастионы немецкой идентичности» (с. 184). «Обращения к немецкой нации» Иоганна Готлиба Фихте имели большое влияние на немцев. «Они выражали общие места националистического дискурса: настоятельный возврат к чистоте немецкого языка и литературы, история как панацея и избранность немцев» (с. 186).

Важным этапом становления мифа стала историческая дидактика, с помощью которой «обнаруженный» романтиками *народный дух* ретранслировался в широкие массы. В 1816 г. Фридрих Кольрауш издал учебники по истории Германии («Немецкая история для школы и дома» с 1816 г. до 1875 г. выдержала 16 изданий). «С их помощью он представил германцев широкой публике и заметно распространил и расширил круг читателей Тацита. Именно в эту эпоху "Германия" и производный от нее германский миф вышли за пределы узкого круга ученых и интеллектуалов и проникли в гостинные немецкого среднего класса» (с. 183). У «германского мифа» появляется новый аспект — расовый оттенок. «С начала XIX века римский историк был интерпретирован так, чтобы подтвердить чистоту не только нравов и языка, но и все в большей степени расовое строение тела германских предков как представителей кавказской, позже арийской и, наконец, нордической расы. Германцы были расово чистыми; расово чистыми они должны быть вновь» (с. 183). Кольрауш делал акцент на чистоте крови. Повсюду в своей «Истории...» он описывает германцев «как древнюю, чистую и несмешанную оригинальную расу, уподобляя их "идентичным растениям, растущим из чистого семени", которые не подвержены "дегенерации". Он насаждал расовые представления в текст Тацита. Но откуда он, историк и учитель, заполучил их?» (с. 191).

В середине XVIII в. появляется «научная концепция расы». В эту эпоху ботаники и зоологи предлагали классификации различных видов растений и животных. Голландский художник и анатом Питер Кампер в 1760 г. вывел «лицевой угол» как критерий красоты, как подспорье в работе художников и скульпторов. Несколькими десятилетиями позже шведский антрополог Андерс Ретциус высчитал длину и ширину черепов и вывел «кефалический индекс» для различий между двумя типами — брахикефальным и долихокефальным. Иоганн Фридрих Блюменбах, профессор медицины в Гёттингене, в своей «Диссертации о природном разнообразии человечества» утверждал, что вырождение является следствием изменения климата и образа жизни, скрещивания с другими видами, приводящего к отклонению от начального типа. Германские предки не смешивались с чужеземцами. Но с тех пор климат изменился, люди смешивались, и вырождение очевидно, поскольку среди современников редко можно встретить людей «с большими телами наших предков» и их «грозными очами», о которых писал Тацит. На этот раз речь шла уже не о культурном и моральном упадке, но о физиологическом и, наконец, расовом вырождении. Блюменбах не был расистом. Он верил в единство человеческого вида и выступал против предположений об умственной неполноценности негров. И все же он считал кавказскую расу (названную так по предполагаемому месту происхождения) изначальной формой человечества, а также «самой красивой и привлекательной». Эстетические взгляды Блюменбаха провоцировали расистские взгляды. Расовые теории были популярны как в академической среде, так и за ее пределами. Эрнст Моритц Арндт, автор антинаполеоновских памфлетов, восхвалял Тацита, приписывая ему мысли о чистоте германцев и испорченном сброде поздней Римской империи. «Связывая упадок с вырождением, Арндт заложил *расовую теорию истории*, наиболее мрачную версию которой несколькими десятилетиями позже развил французский писатель Артур де Гобино, также испытавший влияние Блюменбаха» (с. 196).

Артур де Гобино в четырехтомном «Очерке о неравенстве человеческих рас» утверждал, что белая раса обладает монополией на красоту, умственные способности и власть. Именно она движет историю. Благороднейшая группа белой расы — арийцы. Арийско-германская группа белой расы причастна ко всем достижениям в истории человечества. Термин «арийцы» ввел в оборот Уильям Джонс, обративший внимание на явные лингвистические параллели между санскритом, греческим и латинским языками. Он сделал вывод об их происхождении из общего источника, более не существующего. Филологи продолжили его работу, и вскоре термин «арийский» стал использоваться для обозначения не только праязыка индоевропейцев, но и арийского пранарода. В серии лекций, прочитанных в Королевском институте Великобритании, Фридрих Макс Мюллер заявил, что «название "арийский" следует использовать в чисто физиологическом смысле и ограничить долихокефальными людьми, голубоглазыми блондинами, независимо от языка, на котором они говорили» (с. 197—198). Гобино пессимистически оценивал современное состояние арийской расы и позитивно отзывался о евреях, что решительно не совпадало с будущей нацистской идеологией. Однако идеи Гобино оказали влияние на национал-социализм через посредничество композитора Рихарда Вагнера. В «Кольце Нибелунгов» он прославлял нордический героизм и немецкие

добродетели. Вагнер поручил своему последователю Людвигу Шеманну, библиотекарю в Гёттингене, спасти от забвения наследие Гобино. Шеманн основал общество имени Гобино, перевел его труды, написал биографию и свой собственный трактат о расе.

Создание Германской империи в 1871 г. еще более способствовало распространению германского мифа благодаря созданию множества добровольных политических ассоциаций (Verein), таких как гимнастические общества, стрелковые клубы, студенческие корпорации и молодежные группы, которые Кребс относит к националистическому (volkisch) движению. Среди них выделялись «Allgemeine Verband» (1891) и «Germanenorden» (1912). «К концу [XIX] века эта романтизация прошлого соединилась со страхом перед модерностью, трансформировавшимся в неприязнь к городу, недоверие к интеллектуалам и любовь к крестьянской жизни. Процветали паранауки с их прогерманским и антисемитским расизмом. Националисты фантазировали, что арийско-немецкое превосходство, засвидетельствованное в истории, может быть доказано анатомически» (с. 204). Измерение черепов должно было продемонстрировать соотношение германской внешности и талантов. Расовая чистота стала главной заботой националистического движения. Она дополнялась усилиями очистить немецкую культуру и язык. «Общая немецкая языковая ассоциация» была основана в 1885 г., чтобы «сохранить истинный дух и уникальную сущность немецкого языка, поощрять осознание его чистоты, четкости, ясности и красоты» (с. 206).

Густав Коссина, профессор Берлинского университета, на материале своих раскопок доказывал высокий уровень технических достижений и утонченной культуры германцев в бронзовом веке и утверждал, что именно они принесли цивилизацию в первобытное Средиземноморье. Член нескольких националистических организаций, Коссина распространял результаты своей новой научной дисциплины — доистории. Его книга так и называлась: «Германская доистория: самая выдающаяся национальная наука» (1912). Его труды имели влияние на публику и способствовали появлению исторических романов и монументальных полотен художников на «древнегерманские» темы, а также бесчисленных лекций, журналов и популярных книг по доистории.

Зять Р. Вагнера, британский аристократ Хьюстон Стюарт Чемберлен, в книге «Основы XIX века» (1899) главной движущей силой истории назвал расовый конфликт. Чемберлен завершил процесс трансформации древних германцев из варваров в спасителей и создателей цивилизации. Он утверждал, что, когда из-за смешения народов Римская империя пришла в упадок, с севера, к счастью, вторглись германцы, законные наследники греков и римлян, одной с ними крови и духа, члены арийско-германской семьи. Если бы не северные «варвары», индоевропейская раса могла бы исчезнуть, ибо азиатские и африканские «рабы» сели на римский трон (намек на некоторых поздних императоров), а евреи использовали свою ученость для проникновения в греко-римскую культуру и порчи ее. Германцы создали нации, технику, подняли дух искусством. В целом, согласно Чемберлену, уровень цивилизации народа зависит от доли германской крови в его жилах. История творится на полях расового конфликта. С падением Рима история только начинается, ибо начинается драма германо-еврейского конфликта. Чемберлен располагает в центре расового конфликта эти два народа, поскольку оба придерживались принципа расовой чистоты.

Кребс добавляет, что в это время звучали и иные голоса. В 1920 г. знаменитый германский латинист Эдуард Норден в своей монографии предостерегал против использования «Германии» Тацита как простого отображения древнегерманского прошлого. Он проследил многие якобы германские черты, на самом деле восходящие к греческим и римским описаниям иных народов, таких как египтяне и скифы. По мнению Нордена, эти «кочующие мотивы» Тацит приписал германцам, поскольку они соответствовали тому, что римляне считали варварским народом. Однако дилетанты-националисты обвинили ученого в подтасовке фактов. По мнению Кребса, ситуация вокруг книги Э. Нордена в начале 1920-х показала, что «Германия» Тацита уже превратилась в «святая святых». В 1934 г. «Германия» среди прочих текстов была включена в «Германскую Библию, священное писание германского народа» (с. 212—213).

С приходом в 1933 г. НСДАП к власти только католическая церковь осмеливалась открыто выступать против «германского мифа». В 1933 г. кардинал Михель фон Фаулабер выступил в Мюнхене с серией проповедей «Христианство и германство», в которой (используя Тацита) показал неприглядную картину многобожия, человеческих жертвоприношений и «дикого суеверия» древних германцев в дохристианскую эпоху. Альфред Розенберг, главный идеолог режима, обвинил кардинала в «жесткой критике процесса саморефлексии, происходящего в Третьем рейхе».

Хотя многие лидеры Третьего рейха в своей риторике апеллировали к арийской расе и древним предкам, большинство (Гитлер, Геринг, Геббельс), по мнению Кребса, весьма скептически относилось и к «германскому мифу», и его верному адепту Генриху Гиммлеру. Тем не менее «существовало официальное национал-социалистическое мировоззрение» и германский миф транслировался в общество через множество каналов — школьное образование, специальные брошюры и журналы для учителей истории и молодежи, конференции по германской доистории и т.п. Профессор расовых исследований Ганс Фридрих Карл Гюнтер за книгу «Расовая этнология немецкого народа» был награжден премией на съезде НСДАП в Нюрнберге в 1935 г. Как указывал Гюнтер, из-за скрещивания с другими нордическая раса почти исчезла среди современных немцев, поэтому необходима ренордификация. Гюнтер выступал за расовую селекцию нордических людей и искоренение социальных элементов, обреченных на «деградацию». По его мнению, подобные практики применяли древние германцы, которые топили в болотах тех, кто был склонен к отклонениям от нормы. Доктрина Гюнтера существенно повлияла на национал-социалистическую идеологию, в основных чертах она была изложена в таких учебниках, как «Азбука национал-социализма», и включена в школьную программу.

Наконец, на специфическом прочтении «Германии» Тацита базировались некоторые законы Третьего рейха. *Закон о защите немецкой крови и немецкой чести* был принят «исходя из глубокого убеждения, что чистота немецкой крови является условием выживания немецкого народа». Рейхстаг единогласно проголосовал за запрет браков евреев с гражданами немецкой и родственной крови. (В 4-й главе «Германии» Тацит писал о том, что германцы не смешиваются с иными народами.) На якобы присущей древним германцам практике был основан и *Закон об организации национального труда*, принятый после роспуска профсоюзов. Отношения между работодателем и наемными работниками теперь рассматривались как отношения между «вождем» и «дружинниками», где первый несет ответственность за общее благополучие, а последние обязаны быть верными «вождю» — так же, как и германцы у Тацита (о чем он писал в 14-й и 15-й главах).

Монография Кребса построена как цепь биографий тех, кто вольно или невольно внес интеллектуальный вклад в создание «германского мифа», легшего в основу доктрины расового превосходства нордической расы. Логическим завершением этой цепи у Кребса является биография Г. Гимmlера. Хотя сам Гимmlер не соответствовал критериям нордической расы (кроме высокого роста), он предпринимал целенаправленные усилия по возрождению расовой чистоты следующих поколений и формированию новой элиты. Руководимая Гимmlером СС находилась в авангарде этого процесса. В этом ему также помогал Рихард Вальтер Дарре, отвечавший в партийном аппарате за распространение идеологии. Автор книг «Хлеборобство как способ существования нордической расы» (1928) и «Новое дворянство крови и почвы» (1930), Дарре после встречи с Гитлером в 1930 г. сделал успешную карьеру. Он занимал должности рейхсминистра продовольствия и сельского хозяйства, рейхсфюрера крестьянства, директора Управления по делам расы и расселения. На последней должности Дарре отвечал за ренордизацию и освоение жизненного пространства. «С целью увеличить число германцев, обрабатывающих землю, — эту "сонную артерию народа" и источник омоложения нордической расы — Дарре разрабатывал схемы, как жизненное пространство, добытое в завоеванных регионах к востоку от Германии, будет осваиваться земледельцами немецкого происхождения» (с. 232).

Безусловно, подобный монументальный проект не может быть лишен недостатков. Кребс мастерски показывает влияние войн на формирование «германского мифа». При этом он почему-то ничего не пишет о репарациях, гиперинфляции, социальном хаосе и отчаянии начала 1920-х гг. в Германии, оказавших большое влияние на быстрое распространение представлений о превосходстве арийской/нордической расы в обществе, лишенном многих привычных ориентиров после поражения в Первой мировой войне и краха Германской империи. Упоминание данного контекста могло бы помочь читателю лучше понять болезненную реакцию немецкого общества 1920-х гг. на монографию латиниста Эдуарда Нордена.

Сжатым очеркам Кребса о вкладе того или иного автора в новое прочтение «Германии» не всегда хватает более широкой контекстуальности. Во второй половине XIX — начале XX вв. необычайно возрос научный и внеакадемический интерес к первобытной культуре и иррациональным формам знания (см., например, работы Э.Б. Тайлора «Первобытная культура», Дж. Фрэзера «Золотая ветвь» и К. Леви-Брюля «Первобытное мышление»). С учетом данного контекста *доистория* профессора Густава Коссины (1912) и восхваление им утонченной культуры германцев в бронзовом веке не будут восприниматься как нечто из ряда вон выходящее или проявление уникальности германской ситуации.

\* \* \*

В центре внимания С. Плохия Левобережная Украина (бывшая Гетманщина, а затем Малороссия) последней четверти XVIII — первой четверти XIX вв. В 1828 г. стало известно о находке рукописи ранее неизвестной «Истории Русов» в библиотеке одного из местных помещиков, принадлежавшего к потомкам казацкой старшины. Это сочинение якобы было создано в 1769 г. Могилевским (Белорусским) архиепископом Георгием Кониским по просьбе Григория Полетики, депутата от бывшей Гетманщины в Уложенной комиссии, созданной Екатериной II в 1767 г.

Многие известные авторы эпохи романтизма (К. Рылеев, А. Пушкин, Н. Гоголь, Т. Шевченко) открыли для себя неисчерпаемый источник вдохновения в «Истории Русов». Одни из них использовали этот текст при разработке трагических и героических сюжетов в собственных произведениях, связанных с историей Малороссии, другие — для критики абсолютизма. В 1846 г. рукопись была опубликована профессором Московского университета Осипом Бодянским<sup>[7]</sup>. Начиная с середины XIX в. — в эпоху конкурирующих национальных проектов в Российской империи — «Историю Русов» используют для обоснования самых разных платформ национального строительства: и украинофилы, и сторонники «большой русской нации», и те, кто декларировал культурное своеобразие малороссов в «триедином русском народе».

Уже тогда звучали голоса, выражавшие сомнение в подлинности «Истории Русов». Тем не менее все новые и новые поколения «будителей» обращались к этому тексту как к манифесту национальной идентичности украинцев, пока наконец в 1991 г. (за несколько месяцев до провозглашения независимости Украины) «История Русов» была опубликована вторично (русский оригинал и украинский перевод). Антипольский и антиеврейский характер «Истории Русов», несомненно, привлекал как «будителей», помогая более рельефно показать этническое своеобразие украинцев, так и сторонников «большой русской нации». Редкие выпады против великороссов (в том числе старообрядцев) бледнеют на фоне изъявлений лояльности автора к правящей династии Романовых. Еще одна особенность «Истории Русов» (весьма досадная, с точки зрения прежних и нынешних «будителей») в том, что в отличие от «казацких летописей» XVII—XVIII вв., в центре повествования которых были Хмельнитчина и Гетманщина,

анонимный автор значительное концептуальное внимание уделяет «доказательному» периоду истории, подчеркивая общее происхождение малороссов и великороссов из «Древней Руси» (таким образом, автор оказывается в стане сторонников концепции Древней Руси как «колыбели трех братских восточнославянских народов»). Наконец, автор «Истории Русов» принципиально избегает употребления термина «Украина» как выдумки, приписываемой им «бесстыдным и злобным польским и литовским баснословам», но пишет о «Малой Руси».

Однако даже эти противоречия не помешали «Истории Русов» остаться одним из краеугольных камней украинского национального нарратива вплоть до наших дней. Кто же был автором «Истории Русов»? В каких обстоятельствах родился замысел ее написания? Какие цели преследовал автор, пожелавший скрыться за чужим именем? Почему «История Русов», несмотря на явные противоречия, сыграла такую важную роль в украинском национальном проекте и продолжает опосредованно влиять на украинско-российские отношения?<sup>[8]</sup> Вот те вопросы, которые ставит перед собой С. Плохий, избрав для своего исследования, как сам он заявляет, форму детективного расследования.

Окончательного ответа на первый вопрос Плохий не дает. Однако он называет время, место, обстоятельства и среду, в которых была создана «История Русов». Вместо того чтобы искать автора среди известных персон бывшей Гетманщины, Плохий обращает внимание на лиц, ранее не привлекавших внимание исследователей. Более того, если на протяжении последних двух десятилетий украинская историография прилагала немалые усилия для максимальной изоляции истории Украины от имперского прошлого<sup>[9]</sup>, то Плохий, наоборот, предлагает вернуть ее в имперский контекст.

Несомненно, обращение Плохия к имперскому контексту отражает его личную интеллектуальную траекторию в западной академической среде<sup>[10]</sup>. Тем не менее с высокой долей уверенности можно предположить, что «Казацкий миф» спровоцирует часть украинских историков пересмотреть свои подходы к истории XVIII—XIX вв. Предпосылки для этого есть. Некоторые исследователи уже осознают, что искусственная изоляция украинского прошлого от имперского контекста сужает возможности для адекватного понимания и реконструкции многих процессов, имевших место в истории Украины XVIII—XIX вв.<sup>[11]</sup> Как нам кажется, некоторое промедление в этой сфере может быть объяснено методологической растерянностью: возможно ли совместить дискурс национально-освободительной борьбы с имперским контекстом, отказавшись от его исключительно негативной трактовки в антиколониальном ключе? Книга Плохия может помочь в решении этой проблемы.

Плохий отказывается рассматривать «Историю Русов» в качестве одного из наиболее ранних манифестов украинского национального движения. Он заявляет, что «государственническая школа» (прежде всего, проф. Александр Оглоблин), доминировавшая в диаспорной историографии в годы холодной войны, задним числом поставила малороссийскую элиту на службу украинскому национальному проекту. Плохий ищет мотивы автора и его окружения, пытаясь понять их цели и устремления, мировоззрение провинциальных помещиков той эпохи, доступный им интеллектуальный багаж, с помощью которого они формулировали видение прошлого и будущего своей социальной группы. Таким образом, Плохий стремится установить обстоятельства создания «Истории Русов» с точки зрения современников, руководствовавшихся текущими интересами, а не с перспективы националистической истории, целью которой является создание, а затем легитимация национального государства. Плохий отказывается от вписывания процесса создания «Истории Русов» в жестко детерминированное русло «национального возрождения» и «строительства нации».

«История Русов» в украинской гуманитаристике и дидактике традиционно воспринимается как начальный этап национального пробуждения и освободительного движения, направленного на разрушение империи. Плохий же, наоборот, делает попытку вернуть «Историю Русов» в имперский контекст — контекст ее создания. Именно этим его монография более всего отличается от поисков предшественников: их *предзнание* делало их заложниками национальной парадигмы истории, априори сужая исследовательское поле. Плохию также нелегко дался этот отход от национальной парадигмы — он откровенно пишет о своем удивлении, когда в процессе почти двадцатилетнего исследования увидел, что его результаты не соответствуют устоявшимся клише. Плохий признает, что в начале исследования ожидал увидеть кружок интеллектуалов-мечтателей («собирателей национального наследия», по классификации М. Гроха<sup>[12]</sup>), однако нашел политически активных помещиков, многие из которых также принадлежали к имперской бюрократии и приложили немало усилий для расширения империи и управления ее окраинами (с. 8—9). Образ «интеллектуалов-мечтателей» явно навеян более поздним Кирилло-Мефодиевским братством (1845—1847). Само это недолговечное братство, благодаря усилиям его апологетов (как националистического, так и революционно-демократического калибра), превратилось в модель, к которой украинские исследователи привыкли подгонять и более ранние явления общественной и интеллектуальной жизни. Плохий также отказывается от *уникальности* украинской ситуации, сравнивая ее с синхронными явлениями истории Шотландии и Чехии. Таким образом, монография Плохия — это отход от устоявшихся стереотипов украинской историографии, сформированных усилиями историков и публицистов — украинофилов второй половины XIX в. В трансформированном виде эти стереотипы нашли свое продолжение как в советской, так и в эмигрантско-диаспорной историографии и продолжают воспроизводиться в современной украинской историографии. По мнению Плохия, национальная идеология не развивалась в вакууме, а вырастала из политического и идеологического контекста империй. Национальные активисты раннего этапа не обязательно считали *нацию империю* несовместимыми категориями. Они использовали имперские догмы и обращались к имперским институтам, прежде чем со временем отважились на конфликт. Нации формируются в пределах, определенных империей.

Плохий убедительно демонстрирует, что в начале XIX в. в сознании малороссийской элиты могли одновременно сосуществовать *лояльность* к империи/династии и *борьба* за права своей нации. Конечно, в том виде, в каком *нация* и *права* понимались в ту эпоху, то есть как права дворянской корпорации, в частности борьба за первенство в империи с конкурирующими дворянскими корпорациями. В отличие от многих иных народов империи, потомки казацкой старшины были убеждены (и это нашло отражение в «Истории Русов»), что они вовсе не завоеванные подданные, а полноправные члены правящей имперской нации, более того, ее древнейший, аутентичный и главный компонент. По мнению Плохия, «История Русов» — это не манифест русско-украинского единства или зарождения украинского национализма (как считали многие в XIX в. и считают до сих пор), а попытка части потомков казацкой старшины выторговать себе наиболее выгодные условия для инкорпорации в империю — равные правам русского дворянства.

Монография подразделена на пять частей. В первых двух Плохий тщательно описывает обстоятельства «обнаружения» рукописи «Истории Русов», использование ее современниками (К. Рылеев, А. Пушкин, Н. Гоголь, Т. Шевченко), публикацию 1846 г., интерпретации и исследования до 1990-х гг. включительно. Анализируя труды предшественников, Плохий обращает внимание как на находки, так и на слабые места, показывая, как обстоятельства и убеждения исследователей влияли на предложенные интерпретации «Истории Русов». Освещение этих процессов, растянувшихся во времени на почти два века, можно считать прекрасным путеводителем, в котором Плохий знакомит англоязычного читателя с интеллектуальной историей Украины.

Следующие три части отражают процесс собственных научных поисков Плохия и имеют красноречивые детективные названия: «Фрагменты мозаики», «Необычные подозреваемые», «Семейный круг».

Собственное исследование/расследование Плохий начинает с вопроса о дате написания «Истории Русов». Проведя анализ текста и установив, с какими авторами полемизирует аноним, Плохий приходит к выводу, что, скорее всего, «История Русов» была написана в интервале 1816—1818 гг. (с. 146).

По нашему мнению, восьмая глава («В поисках мотивации») — одна из лучших в монографии. Плохий обращает внимание на то, что аноним целенаправленно избегает термина «Украина», считая введение его польской интригой. В то же время он использует понятие «Малая Русь» и вводит термин «русы». Так аноним сводит в единый нарратив историю «русов», казацкого сословия и малороссийского дворянства. Откровенно антипольскую позицию анонима Плохий объясняет явным польским влиянием (особенно кн. Адама Чарторыйского) при дворе Александра I, планировавшего восстановить Польское королевство под скипетром российского монарха. «Коварные поляки» в 1806—1807 гг. уговаривали Наполеона присоединить к Герцогству Варшавскому Волинь, Подолию и «Украину», а в 1812 г. присоединились к его Великой армии во время похода на Москву. Несмотря на все это, в 1815 г. было создано Царство Польское под скипетром Александра I, а у большинства шляхты были признаны дворянские права. В то же время потомки «верных казаков» чувствовали себя обиженными.

Созданная в 1797 г. по указу императора Павла I Геральдическая комиссия (Герольдия) существенно ограничила доступ в дворянское сословие многим потомкам казацкой старшины, требуя от них документального подтверждения их претензий. Это недовольство породило первую волну меморандумов, составленных предводителями дворянства Черниговской и Полтавской губерний в 1809 г., в которых они доказывали свои давние шляхетские права. В декабре 1818 г. потомкам казацкой старшины было отказано в дворянстве на том основании, что их предки могли претендовать лишь на личное, но не потомственное дворянство. Эти события спровоцировали новые меморандумы в 1819 г. Таким образом, прошлое превратилось в весомый аргумент в обращениях малороссийского дворянства к имперскому центру.

Именно в этих обстоятельствах, по мнению Плохия, и была написана «История Русов», замаскированная под сочинение архиепископа Григория Кониского, якобы составленное около 1769 г. Это сочинение, написанное от имени уже покойного на тот момент православного иерарха, современники должны были воспринимать как беспристрастный аргумент в пользу дворянских устремлений потомков казацкой старшины. В «Истории Русов», как и в меморандумах, подчеркнута равенство в служении трону и отчизне малороссийского дворянства с его «русскими братьями», и даже первенство малороссиян. Как утверждает Плохий: «Это была стратегия сверхкомпенсации — акцентирование славного прошлого казацких предков и утверждение превосходства прав и свобод малороссийского дворянства как способ настаивать на равном статусе с великорусами и добиться как можно более благоприятных условий интеграции в имперскую элиту. Как нам кажется, именно это было главной целью автора "Истории Русов", подчеркивавшего не только казацкий героизм и права, пожалованные малороссийским дворянам польскими королями, но также исключительное право его земляков на имя и наследие Руси, бывшее ядром русской имперской идентичности» (с. 167—168). Главное отличие «Истории Русов» от меморандумов Плохий видит, прежде всего, в жанре (с. 168). Это, а также анонимность позволяли автору смелее конструировать героическое прошлое казаков и развивать аргументацию меморандумов.

Девятая глава («Как он делал это?») посвящена тому, как, собственно, неизвестный автор составил свое сочинение. По мнению Плохия, его воодушевляли сочинения двух французов — Вольтера («История Карла II») и Ж.-Б. Шерера («Летопись Малороссии, или История казаков-запорожцев и казаков Украины, или Малороссии»). «Если источники не давали достаточно материала для написания того вида истории, на который его вдохновляли его французские модели, анонимный автор использовал свое воображение в несравненно большей степени, чем это делали его предшественники или последующие авторы. Он творил историю в такой же степени, как и фиксировал ее. Опираясь одновременно на Просвещение и романтизм, автор создал повествование, которое не только пропагандировало идеи свободы, патриотизма, борьбы с тиранией, человеческой и божественной справедливости, но также стимулировало

воображение читателя, желавшего слышать голос прошлого и видеть историю, разворачивающуюся перед его глазами. Одна из причин популярности "Истории Русов" была в том, что она не следовала устоявшимся шаблонам, но учитывала меняющиеся вкусы читателей» (с. 187). Следовательно, по мнению Плохия, использование анонимом художественных приемов литературы романтизма объясняет популярность «Истории Русов» среди читателей, в частности женщин, число которых в читательской аудитории XIX в. резко возросло.

Относительно политических убеждений автора (и его окружения) Плохий делает вывод, что это была «попытка примирить конфликтующие лояльности — по отношению к нации и суверену» (с. 199). Следуя, в целом, уже сформировавшемуся канону «хороших» и «плохих» гетманов, аноним вкладывает свои мысли в уста Павла Полуботка (ок. 1660 — 1724)<sup>[13]</sup>: «Он олицетворяет собой идеального гетмана, готового умереть, защищая интересы своей нации, не предавая принципа верности правителю» (с. 198).

Опираясь на выводы и наблюдения Александра Оглоблина, Плохий одновременно критикует его утверждение о существовании «Новгород-Северского патриотического кружка» (с. 209—210, 217—219). Тщательный анализ «Истории Русов» (особенно описания событий после 1708 г.), в частности топонимов, позволяет Плохию заявлять, что это сочинение было написано на землях бывшего Стародубского полка в Черниговской губернии (ныне в Брянской области Российской Федерации) (с. 223—224).

Двенадцатую главу («Казацкая аристократия») Плохий посвятил биографиям богатых стародубских помещиков Миклашевских и Гудовичей и их покровителям в Петербурге — кн. Александру Безбородко, Петру Завадовскому и Дмитрию Трошинскому, достигшим наивысших должностей в эпоху Екатерины II, но утратившим их в царствование Павла I и Александра I (или умершим, как А. Безбородко в 1799 г.). По мнению Плохия, эти «старые отставники», вытесненные с имперского олимпа в свои поместья, могли стимулировать общий дух недовольства малороссийского дворянства (в частности, у Д. Трошинского бывали в гостях декабристы Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин; Михаил Миклашевский был тестем декабриста Александра фон Бригена, которому принадлежит первое упоминание об «Истории...» Кониского; в имении И.А. Безбородко была найдена рукопись «Истории Русов»). Так Плохий формулирует собственную версию, согласно которой существовал «кружок богатых стародубских помещиков, связанных семейными узами и общим опытом имперской службы» (с. 242).

В тринадцатой главе («Освобожденное дворянство») Плохий осуществляет попытку реконструкции этого кружка. Он прослеживает связь между индивидуальными карьерами «подозреваемых» в сочувствии идеям «Истории Русов» или даже в причастности к ее созданию и тем, как на страницах этого произведения охарактеризованы те или иные российские монархи, казацкие гетманы и полковники. Плохий также обращает внимание на то, кто из числа стародубской знати и их родственников, как часто и в каком качестве упомянут в «Истории Русов». Таким образом, был очерчен круг потенциальных авторов/соавторов, их «консультантов» и сочувствующих читателей-распространителей рукописи на начальном этапе ее существования.

В следующей главе Плохий вплотную подходит к личности потенциального автора, однако так и не ставит точку, указывая на некоторые слабые стороны в собственной гипотезе. В центре его внимания «социальные квалификации» автора — происхождение, воспитание, образование, карьера, — которые позволили бы ему написать «Историю Русов».

В последнем, пятом разделе — «Семейный круг» (главы: «Отсутствующее имя», «Зять» и «Соперники») — Плохий воссоздает плотную сеть родственных связей стародубских помещиков. Углубляясь в дружеские и неприязненные отношения, распутывая интриги и судебные тяжбы, Плохий мастерски показывает потенциальные возможности того, как эти связи могли отразиться на страницах анонимного сочинения. Наконец, Плохий вводит в бой такие хорошо известные фигуры, как малороссийский генерал-губернатор кн. Н. Репнин (в этой должности в 1816—1834 гг.) и сотрудник его канцелярии, историограф Д.Н. Бантыш-Каменский. Плохий предполагает, что «История Русов» была создана в рамках «стародубского кружка» в ходе противостояния генерал-губернатора кн. Н. Репнина и стародубского помещика, отставного генерала С.М. Ширия (1761—1841), предводителя дворянства Черниговской губернии (1818—1828). Разное видение ими возможного решения сложной ситуации с малороссийским дворянством стимулировало обращение к прошлому в поисках дополнительных аргументов. Неудивительно, что время издания «Истории Малой России»<sup>[14]</sup> Д.Н. Бантыш-Каменского (1822 и 1830) и обнаружения «Истории Русов» (1825—1828) совпадает. Репнин заказал Д.Н. Бантыш-Каменскому написать «Историю Малой России», для которой сам написал главу о битве под Берестечком в 1651 г.

Период последней четверти XVIII — первой четверти XIX вв. никогда не пользовался популярностью у украинских историков, тем более после 1991 г., когда сквозной осью украинских исторических нарративов стала извечная борьба за собственную государственность. Полвека между ликвидацией Запорожской Сечи (1775) и выступлением декабристов остается почти целиком белым пятном в изучении и преподавании истории Украины. Авторы исторических гранд-нарративов стараются поскорее перейти к Тарасу Шевченко и Кирилло-Мефодиевскому братству, с которого начинается *непрерывное* национально-освободительное движение различных украинофильских организаций. Именно украинофилы вычеркнули из истории Украины малороссийское дворянство, которому было отказано в чести принадлежать к угнетенной украинской/крестьянской нации<sup>[15]</sup>.

Плохий фактически возвращает ведущий слой населения Левобережья (Гетманщины) в историю Украины, демонстрируя при этом активную политическую позицию помещиков и бывших имперских сановников, которые одновременно прославляли Павла Полуботка, защищавшего гетманство, и Екатерину II, это гетманство

окончательно ликвидировавшую. Взгляды этого слоя отражает «История Русов», и Плохий показывает возможность реконструировать политическое и историческое воображение анонима и его окружения, а не навязывать им идеологические клише позднего периода, когда *нация империя* превратились во взаимоисключающие категории. «Автор "Истории Русов" не был ни украинским националистом, ни русофобом. Модерного украинского национализма тогда еще не существовало» (с. 352). Подчеркивая этнические отличия врагов Малой России, аноним способствовал трансформации собственной «казацкой малороссийской нации» *изкорпоративной этнической*. «С другой стороны, его переход от сословной к этнической концепции нации был далек от завершения. В социальных категориях, нация русов "Истории Русов" была нацией казацкой старшины и ее дворянских потомков, и только иногда членство в этой нации распространялось и на народные массы» (с. 354). Интегрированные в империю потомки казацкой старшины стремились сохранить свои корпоративные привилегии, что противоречило просветительским проектам централизации и унификации империи. «Спротивление этому проекту было в центре аргументации, изложенной в "Истории Русов". Обе стороны этого спора говорили на языке Просвещения, но использовали его по-разному: чтобы подчеркнуть или рациональность и имперскую централизацию, или наоборот — права и свободы бывших подданных, ныне ставших гражданами» (с. 357). По мнению Плохия, главный аргумент «Истории Русов» можно понять только в имперском контексте. «Автор поддерживал претензии своей нации на основу имперской исторической идентичности — название и наследие Руси. Он не только представил казаков как нацию русов, но он также взялся изложить историю своей родины, называемой Малой Россией в заголовке работы, как часть общерусской истории. <...> Заявляя претензии своей нации на историю Киевской Руси и подчеркивая, что название и история Руси были украдены у казаков, автор не подрывал имперский нарратив, но перестраивал его для того, чтобы поместить свой народ ближе к центру империи» (с. 357—358).

Плохий указывает на общие черты чешской и малороссийской элит эпохи просвещенного абсолютизма. В обоих случаях, лишившись влиятельного положения в имперских столицах (Вене и Петербурге), эти элиты обращаются к прошлому и способствуют созданию исторических подделок (Краледворской рукописи и «Истории Русов»), необходимых для защиты их сословных привилегий от имперской бюрократии. Отличие Плохий видит в том, что чешская аристократия основала много институтов, позже заложивших культурный фундамент современной чешской нации. Малороссийское дворянство этого не сделало, поскольку имело влияние на провинциальные центры власти — именно предводители дворянства были в центре «открытия» и распространения «Истории Русов» на начальном этапе.

Таким образом, хотя основное внимание Плохий уделяет поискам автора «Истории Русов», наибольшей новацией его монографии нам представляется именно анализ *горизонта ожиданий и политического воображения* малороссийского дворянства первой четверти XIX в.

Каждую главу Плохий начинает с очерка, в котором показывает (возможно, иногда преувеличивая) влияние «Истории Русов» *казацкого мифа* в целом как на культурные и политические процессы в современной Украине (преимущественно 1970—1990-х гг.), так и на российско-украинские отношения 2000-х гг. «Казацкий миф, позаимствованный украинским проектом национального строительства из "Истории Русов" в начале XIX века, остается важным компонентом украинской исторической и национальной идентичности» (с. 366). В хорошо известных дискуссиях о путях формирования наций, ведущихся *междумодернистами* (Эрнест Геллнер, Эрик Хобсбаум) *ипернниалистами* (Энтони Смит, Джон Армстронг), Плохий становится на сторону последних, присоединяясь к мысли, что «далеко не все национальные традиции были "изобретены" строителями наций в XIX веке <...> исторические мифы могут быть приспособлены к различным обстоятельствам и приобрести новые значения в разных контекстах» (с. 366—367).

Признавая масштабность и новаторство исследовательского проекта С. Плохия, хотелось бы обратить внимание также и на некоторые спорные моменты.

Плохий убедительно развенчивает многие клише, сложившиеся в украинской историографии в *еегосударственнической инароднической* версиях, однако у него нет четкого разделения «украинского» и «малороссийского». Для него это синонимы. Одних и тех же персонажей он квалифицирует как «малороссийское дворянство» (theLittleRussiannobility) и тут же как «украинских патриотов» (theUkrainianpatriots) и «украинское дворянство» (theUkrainiannobility) (например, с. 164—165). При этом сами патриоты в частной переписке (цитируемой Плохием) называли друг друга «малороссийским дворянством». Вполне в традиционном русле украинского национального дискурса Плохий считает общественно-политическую активность малороссийского дворянства начала XIX века начальным этапом «украинского национального проекта», при этом декларируя, что «подозреваемые» в причастности к «Истории Русов» не были модерными украинскими националистами. Явное противоречие.

Это противоречие можно разрешить, если вспомнить, что, например, Энтони Смит (на чью сторону склоняется Плохий в противостоянии перенниалистов и модернистов) выделял *латеральный* (определяемый домодерной элитой) *идемотический* (народно-культурная мобилизация) пути формирования наций<sup>[16]</sup>. По нашему мнению, на этнических украинских землях Российской империи существовало два местных<sup>[17]</sup> проекта — «малороссийский» и «украинский». Первый был старше, респектабельнее и эволюционировал из малороссийского автономизма потомков казацкой старшины. Второй — моложе и радикальнее, с сильной разночинской и народнической (позже социалистической) составляющей. Эти проекты существенно отличались. Для них были характерны разное понимание нации, разный уровень мобилизации, разные территориальные рамки «отчества», не говоря уже о разных целях. Оба эти проекта сосуществовали как минимум до краха Российской империи. Политическая и

вооруженная борьба между Украинской Народной Республикой и Украинской Державой гетмана П. Скоропадского в 1918 г. показала, что оба эти проекта так и не смогли найти некий компромисс<sup>[18]</sup>. На очевидное различие между малороссийским «панством» и «украинофилами» указывал уже Пантелеймон Кулиш (один из членов Кирилло-Мефодиевского братства) в своей статье «Украинофилам» (1862)<sup>[19]</sup>.

Плохий пишет об отличии Малой России от «остальной империи» (с. 164), как если бы эта «остальная империя» была чем-то однородным<sup>[20]</sup>. Разные части империи также отличались друг от друга. Достаточно вспомнить Эстляндию, Лифляндию, Курляндию, «Литву», Сибирь и казацкие войска степного юга, не говоря уже о присоединенных в правление Александра I Финляндии, Бессарабии, грузинских царствах и Царстве Польском. Фактически у Плохия идет речь о противопоставлении Малой России как периферии и Великороссии как традиционного ядра империи (т.е. великорусского дворянства как главной опоры трона) и стремлении малороссийских дворян трансформировать это ядро в двуединое — доказать, что трон самодержцев опирается прежде всего на дворянские корпорации Великой и Малой России.

Плохий очень ярко и подробно пишет о том, как малороссийское дворянство в начале XIX в. конструировало «казацкий миф» для достижения своих сословных целей. Однако он фактически игнорирует *диалогичность* этого процесса — *провинциальная элита имперский центр*, — не объясняя позиции имперского центра и сводя ее исключительно к ограничениям Геральдической комиссии и различиям присланных из центра генерал-губернаторов (Куракин, Лобанов-Ростовский, Репнин). Хотя Плохий талантливо и весьма убедительно расширяет круг «подозреваемых», все же, следуя сознательно выбранному им жанру детективного расследования, он ограничивается только мотивацией «подозреваемых» и их социальной среды, но не пишет о мотивации другой стороны (т.е. имперского центра), с позицией которой не были согласны «подозреваемые». Как, собственно, из имперского центра рассматривали Малороссию и ее прошлое? Игнорирование образа Малороссии в перспективе имперского центра помешало Плохию до конца понять истинные причины того, почему автор «Истории Русов» в самом начале сочинения аргументирует отказ от употребления термина «Украина». Плохий объясняет это реакцией автора на произведения «польских и литовских баснословцев» начала XIX в., использовавших термин «Украина» в негативном контексте — «пустыня», заселенная усилиями Польского государства<sup>[21]</sup>. Автор же подчеркивает, что эта земля — часть «Древней Руси»<sup>[22]</sup> (на что справедливо указывает Плохий). Плохий останавливается на этом антипольском аргументе. Однако (как отмечает сам Плохий) «История Русов» была адресована имперскому центру (поэтому написана на русском). Логично было бы предположить, что главный аргумент был направлен не против «польских происков», но против определенных стереотипов в восприятии «Украины» в имперском центре (и шире, среди русского дворянства Великороссии). Задолго до 1654 г. у Московии/России уже были свои «Украины»/«Украины» с донскими, терскими и яицкими казаками. У имперской элиты существовало устоявшееся представление о низком социальном происхождении и неблагонадежном поведении населения «украинных» земель, принесших множество бедствий собственно России и даже угрожавших ее государственности/династии/дворянству. Достаточно вспомнить участие казаков (в том числе и запорожских) в событиях Смутного времени, восстания С. Разина и К. Булавина и еще свежее в памяти современников восстание Е. Пугачева. Все эти «бунты» начинались на «украинах», куда от помещиков бежали их холопы. По нашему мнению, в писаниях польских «баснословцев» автора «Истории Русов» более всего раздражало именно их указание на *наллебийский* характер населения «Украины»<sup>[23]</sup>. Поэтому он последовательно использует термин «Малая Русь», указывая на древнее и благородное происхождение местной элиты<sup>[24]</sup> и, тем самым, на справедливость ее претензий на социальный статус, равный статусу русского (великорусского) дворянства.

Плохий указывает на то, что сочинения малороссийских помещиков рассказывали историю, «сильно отличавшуюся от той, которую продвигали имперские чиновники» (с. 265). К сожалению, Плохий не дает ответа на вопрос: какую же историю продвигали «имперские чиновники»? А ведь именно к этому имперскому историческому нарративу должен был приспособиться автор «Истории Русов», чтобы представить казацких предков главными преемниками наследия Руси. Плохий лишь изредка упоминает Татищева и некоторые учебники по русской истории. Создается впечатление, что Плохий уверен в глубоком знакомстве своего читателя с историей России XVIII—XIX вв. Поэтому, рассказав о декабристах и интересе некоторых из них к «Истории Русов», Плохий далее фокусирует свое внимание исключительно на малороссийской ситуации, т.е. на двух губерниях — Черниговской и Полтавской. Недостаток имперского интеллектуального и историографического контекста Плохий в некоторой степени компенсирует в эпилоге. Соотнесение «Истории Русов» с предшествующим и современным ей имперским историописанием (XVIII — начала XIX в.) могло бы существенно облегчить читателю восприятие аргументации как анонимного автора, так и Плохия. В своей книге Плохий последовательно идет *от общего к частному*, и поэтому, на наш взгляд, надо было больше внимания уделить характеристике этого *общего*.

Плохий высказывает весьма интересную гипотезу о связи «кружка подозреваемых» с декабристами (с. 229). Однако он не приводит убедительной аргументации в пользу своего предположения, а именно причастности декабристов к работе над текстом «Истории Русов» или существенного влияния на ее автора/ авторов. Одних только родственных связей «подозреваемого» Михаила Миклашевского (его сын и зять были декабристами) и визитов некоторых декабристов к Д. Трошинскому явно недостаточно. Более того, в Эпилоге Плохий даже не упоминает о своей почти сенсационной гипотезе. Если вспомнить, например, о речи Александра I в польском сейме в 1818 г. с обещаниями конституции, *тоантиавторитаризм* «отцов» вовсе не кажется нам таким уж оппозиционным. «Отцы» могли продолжать считать себя лояльными подданными, одновременно высказываясь в пользу конституции и реформ.

Таким образом, тот более широкий имперский контекст, который Плохий продекларировал во Введении, он не всегда приводит в своей книге.

Также поспешным кажется нам и утверждение Плохия о влиянии идей Просвещения и отчасти Французской революции на автора «Истории Русов», проявившемся в его пафосе осуждения абсолютизма как восточной деспотии. По мнению Плохия, это отличает «Историю Русов» от предшествующей традиции украинского/малороссийского историописания. Как нам кажется, «отцы-автономисты» вполне могли использовать риторику шляхетского республиканизма, которую вместе со многими иными чертами культуры элита Гетманщины унаследовала от Речи Посполитой и продолжала воспроизводить в имперском контексте<sup>[25]</sup>.

\* \* \*

То ли в шутку, то ли всерьез Кребс относит свое исследование к жанру «интеллектуальной эпидемиологии», заявляя, что «идеи похожи на вирусы» (с. 23). На наш взгляд, правильнее было бы классифицировать «Самую опасную книгу» Кребса как *какархеологию интеллектуальных истоков нацистской теории расового превосходства*.

Кребс аргументированно показывает, что конструирование древнегерманских предков происходило как ответная реакция на итальянские и французские идеи, культурное и интеллектуальное влияние извне, травматический опыт военных поражений. Он реконструирует процесс формирования набора национальных качеств, которыми наделяются «воображенные предки» на каждом этапе развития «германского мифа». У Плохия нет критического разбора сути «казацкого мифа». На наш взгляд, это можно объяснить следующими причинами: 1) Плохий, вероятно, полагает, что суть этого мифа уже известна его читателям; 2) по мнению Плохия, «казацкий миф» весьма функционален в национальном строительстве современной Украины. (В то время как в Германии давно уже отказались от «древнегерманского мифа» и осудили его как часть нацистской идеологии.) Важность книги Плохия в другом. Плохий не просто выбирает для исследования самый непопулярный среди украинских историков период — последнюю четверть XVIII — первую четверть XIX вв. Он впервые открыто артикулирует необходимость введения истории Украины XVIII—XIX вв. в имперский контекст (фактически речь идет о *возвращении* после 20-летних усилий по максимальной изоляции истории Украины от имперского контекста). Это действительно парадигмальный поворот в украинской историографии.

Кребс старается подчеркнуть влияние извне на немецкую интеллектуальную традицию. Таким образом, он исподволь подрывает устоявшийся стереотипный взгляд на нацизм как на уникальное немецкое явление, выросшее исключительно на немецкой почве. Кребс придерживается хронологической последовательности в изложении, демонстрируя изменения в интерпретации «Германии» в зависимости от изменившихся политических обстоятельств и культурной среды.

Плохий не устает удивлять читателя неожиданными поворотами сюжета, ведя его по лабиринту своего детективного расследования из одного тупика в другой. Он до конца держит интригу, в то время как в случае с «Германией» Тацита известны и истоки, и последствия, и Кребсу остается только живо их изложить. Более того, вклад Плохия в изучение истории написания и «обнаружения» «Истории Русов», несомненно, больше, чем вклад Кребса в исследование проблемы создания, открытия и использования «Германии» Тацита. Главная заслуга Кребса в масштабности его замысла, на который вряд ли отважился бы историк, занимающийся изучением нацистской идеологии или Третьего рейха в целом, а если бы и отважился, то его повествование об «эпохе до национализма» никогда бы не получилось таким насыщенным и живописным, каким его сделал профессор античной литературы. Историки Нового и Новейшего времени или исследователи национализма, изучая формирование национальных мифов и идеологий, не углубляются в «прошлое до 1800 г.», но воспринимают доmodernные мифы как данность, как уже готовый ресурс, которым только воспользовались создатели modernных наций<sup>[26]</sup>. (Очевидный результат узкой научной специализации.)

Оба автора подчеркивают парадоксы, главным образом, ставя под сомнение традиционные упрощенные образы формирования своих наций и национализмов. Фактически, избавляются от багажа стереотипов, усвоенных в детстве и юности. Оба используют биографический метод изложения, ведут читателя через цепь жизнеописаний лиц, причастных к созданию, «обнаружению» и интерпретации рукописи. Более всего Кребсу удалось образы завистливых и двуличных итальянских гуманистов XV в. Там, где позволяет материал (вторая половина XIX — первая половина XX в.), Кребс обращается к психоанализу, несколькими штрихами набрасывая детские и юношеские фрустрации некоторых конструкторов арийского мифа. Плохий, с едва скрываемым юмором, живописует потуги sentimentalных украинских литераторов найти документальные свидетельства существования в прошлом вымышленных литературных персонажей. Также Плохию прекрасно удалось образы провинциального учителя истории из Стародуба и отставного генерала Ширия. Создается впечатление, что Плохий «писал их с натуры», имея перед глазами образы (возможно, собирательные), которые использовал как прототипы, дабы оживить исторических персонажей, реконструированных им на основании немногочисленных архивных материалов.

\* \* \*

Подводя итоги, можно сказать, что оба исследователя рельефно отразили современные тенденции в американской интеллектуальной истории. Именно поэтому книга Плохия никогда не будет иметь такого успеха у читающей публики и коллег по цеху, на который обречена книга Кребса. И дело здесь не в исследовательских и литературных талантах, а в значимости и узнаваемости самих объектов исследования. «История Русов», даже несмотря на усилия Плохия, выведшего ее из яслей «украинского национального возрождения» на подиум истории Российской империи, никогда не сравнится с «Германией» Тацита, историей ее открытия гуманистами и ее ролью в формировании раннеמודерной немецкой идентичности, не говоря уже о Второй мировой войне и преступлениях нацизма. Слишком разновелики эти явления, слишком очевидна маргинальность Восточной Европы (даже имперского Петербурга времен Екатерины II и Александра I) в сравнении с античным наследием, Ренессансом и нацизмом. Лавровый венки и нацистская свастика — лаконичный дизайн обложки монографии Кребса — узнаваемые символы во всех уголках мира у читающей публики с самым разным уровнем образования. Прекрасную иллюстрацию художника Г. Нарбута к «Энеиде» И. Котляревского, украшающую обложку книги Плохия, даже в Украине распознают не все, а за рубежом она вряд ли будет идентифицирована за пределами узкого круга ученых-украинистов и диаспорных украинофилов. Только концептуально сильные исследования, которые, независимо от географической и временной привязки изучаемого объекта, помогают лучше понять широко распространенные феномены, могут поставить публикации по восточноевропейской тематике на один уровень с европоцентричными исследованиями.

Как нам кажется, оба исследователя, помимо всего прочего, указывают на потребность формирующейся национальной идеологии *всвятих текстaх*. Обращение к этому символическому ресурсу зачастую является защитной реакцией на вызовы извне, а также отражает неспособность общества прагматически решить стоящие перед ним проблемы. Обращение к священным текстам — это также поиск простых ответов на сложные вопросы.

В Эпilogue Кребс обращается к проблеме интеллектуального выбора и альтернативы: а могли ли ранее (особенно до середины XIX в.) по-другому читать и интерпретировать Тацита? По мнению Кребса, могли. Всегда была возможность читать текст «Германии», не приписывая Тациту своих мыслей. В качестве примера Кребс приводит Беатуса Ренана (1485—1547): «В своей трехтомной "Истории Германии" (Res Germanicae), опубликованной в 1531 г., он довел эту мысль до логичного конца. Он отделил древнюю Германию от современной ему Германии. Более того, Б. Ренан даже поставил под вопрос мнение, согласно которому местное население некритически считалось потомками того племени, которое упоминали Юлий Цезарь и Тацит. "Если кто-либо желает приписать то, что Тацит <...> пишет о свевах, современным швабам, он ошибается". Урок Ренана в том, что немецкое настоящее не может просто так претендовать на германское прошлое» (с. 249).

В чем же урок Кребса для нас? «Самая опасная книга» Кребса — это книга о том, что исследователи не должны выходить за рамки профессиональной этики и приписывать изучаемому автору то, чего он не говорил; о недопустимости принесения принципов научной объективности в жертву современным интересам; об опасности интерпретаций и неточных прочтений и ответственности интеллектуалов. «В конце концов, не римский историк Тацит написал самую опасную книгу; это сделали его читатели» (с. 250).

Как нам кажется, у Плохия нет подобного морального вывода. Его работа остается в рамках детективного расследования и выяснения мотивации автора/авторов «Истории Русов». Плохий со знанием дела критикует версии предшественников и очень талантливо и убедительно формулирует собственную гипотезу. Он старается показать (иногда преувеличивая), что «История Русов» даже через двести лет оказывает влияние как на Украину, так и на украинско-российские отношения. Однако Плохий не анализирует суть *казацкого мифа* так, как это делает Кребс *сгерманским мифом*. Каждую главу своей монографии Плохий начинает с небольшого сюжета о том, как в XX в. пытались установить авторство «Истории Русов», как эта книга воспринималась в разные периоды этой сложной эпохи и т.п. Вместе с тем, Плохий почти не пишет о том, *кого, как ина что* воодушевлял *казацкий миф* и к чему это приводило на протяжении последних двухсот лет. В монографии Плохия подчеркнуты парадоксы, которые ставят под сомнение многие исторические стереотипы, устоявшиеся в украинском обществе и даже в профессиональной среде, но *самказацкий миф* вынесен за рамки исследования Плохия. Разные подходы Кребса и Плохия, двух гарвардских профессоров, чье профессиональное становление происходило на исторической родине, а не в США, на наш взгляд, отражает разные стадии функционирования исторических мифов в Германии и Украине. Поражение Германии в 1945 г. было также и поражением *германского мифа* о нордической расе и унаследованных достоинствах древних предков. Провозглашение независимости Украины в 1991 г., рассматриваемое как победа в рамках линейного нарратива, ориентированного на создание своего национального государства, открыло ящик Пандоры, выпустив на свободу старые и новые исторические мифы.

---

[1] Публикация подготовлена благодаря стажировке в Институте славянских, восточноевропейских и евразийских исследований Калифорнийского университета в Беркли.

[2] Snyder T. Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin. N.Y.: Basic Books, 2010.

[3] Wilson A. The Ukrainians: Unexpected Nation. New Haven; L.: Yale University Press, 2000.

- [4] См.: Плохий С. Папство и Украина: политика Римской курии на украинских землях в XVI—XVII вв. Киев: Наукова думка, 1989.
- [5] В 2005 г. на немецком вышла его книга об интерпретациях «Германии» Тацита в сочинениях итальянских и немецких гуманистов.
- [6] См.: Plokhy S. *The Cossacks and Religion in Early Modern Ukraine*. N.Y.: Oxford University Press, 2001; Idem. *Tsars and Cossacks: A Study in Iconography*. Cambridge, MA, 2002; Idem. *Unmaking Imperial Russia: Mykhailo Hrushevsky and the Writing of Ukrainian History*. Toronto: University of Toronto Press, 2005; Idem. *The Origins of the Slavic Nations: Pre-modern Identities in Russia, Ukraine, and Belarus*. Cambridge University Press, 2006; Idem. *Ukraine and Russia: Representations of the Past*. Toronto: University of Toronto Press, 2008.
- [7] История Русов или Малой России, сочинение Георгия Ко-нискаго архиепископа Белоруского. М., 1846.
- [8] Плохий обращает внимание читателя на тот факт, что в ходе конфликта вокруг Украинской библиотеки в Москве в 2007—2009 гг. «История Русов» была квалифицирована властями как произведение, разжигающее национальную рознь. То, как воспринимается «История Русов» в современном российском антилиберальном (антизападном) дискурсе, прекрасно иллюстрирует написанная в публицистическом ключе книга: Тюрин А. Правда о Николае I. Оболганный император. М., 2010. Позволим себе привести пространную цитату: «В Малороссии польское мифотворчество нашло немногочисленных, однако деятельных сторонников среди местного дворянства. Среди них выделялись мазепинцы Григорий и Василий Полетика, сочинившие антироссийскую фальшивку "История русов»» ([http://www.e-reading-lib.org/chapter.php/1002591/33/Tyurin\\_Aleksandr\\_-\\_Pravda\\_o\\_Nikolae\\_I\\_Obolgannyu\\_imperator.html](http://www.e-reading-lib.org/chapter.php/1002591/33/Tyurin_Aleksandr_-_Pravda_o_Nikolae_I_Obolgannyu_imperator.html). Последнее посещение 17.03.2013).
- [9] Подробнее см.: Осипян А.Л. Образ империи в исторических гранд-нарративах и политике памяти Украины: прошлое в контексте национального строительства // Перекрестки. 2010. № 3/4. С. 22—70.
- [10] Подробнее на эту тему см. интервью С. Плохия 16 января 2012 г.: Плохш С. Без мри книжок не буває (<http://www.historians.in.ua/index.php/intervyu/86-serhiy-plokhyy-bez-mrii-knyzhok-ne-buvaie>. Последнее посещение 29.01.2013).
- [11] См., например: Ададуров В. Запорозький козак Твердовсь-кий проти Наполеона: вщображення вірнопідданих настрої малоросшського дворянства в украшомовному памфлеті 1807 р. з Національного архіву Франції // Укра-шський юторичний журнал. 2012. № 5. С. 177—186; а также рассуждения Владимира Маслийчука на форуме: Периферийность «Центра» в современных исторических нарративах // AbImperio. 2012. № 1. С. 86—88.
- [12] См.: Hroch M. *Social Preconditions of National Revival in Europe: A Comparative Analyses of the Social Composition of Patriotic Groups among the Smaller European Nations*. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
- [13] После смерти в 1722 г. гетмана Ивана Скоропадского Петр I запретил проведение выборов нового гетмана. Поэтому наказной гетман (и.о. гетмана) Павел Полуботок во главе делегации казацкой старшины отправился в Петербург. По приказу царя вся делегация была брошена в Петропавловскую крепость. Согласно автору «Истории Русов», Петр I посетил Павла Полуботка в камере, где последний произнес пламенную речь в защиту автономии Гетманщины. Полуботок умер в заточении в 1724 г. После смерти Петра I в 1725 г. прочие члены делегации были освобождены.
- [14] Бантыш-Каменский Д.Н. История Малой России, со времен присоединения оной к Российскому государству до отмены гетманства, с кратким обозрением первобытного состояния сего края. М., 1822.
- [15] «Литература, изображая в возвеличенном виде простолюдина и выставляя рядом с ним одни пороки и глупости сословия господствующего, клеймит это сословие печатью отвержения, или — сказать проще — считает его выродившимся и неспособным к продолжению народного развития» (Кулиш П.А. Украинофилам // Пам'ятки сушньо! думки Украши XVIII — першо! половини XIX ст.: Хресто-мая. Дшпропетровськ, 1995. С. 426).
- [16] См.: Смит Е. Национальна шентичшсть / Пер. з англшсько! П. Таращука. К.: Основи, 1994. С. 63—76, 130 (Smith A.D. *The Ethnic Origins of Nations*. Oxford: Basil Blackwell, 1986).
- [17] Чтобы не усложнять ситуацию, мы не будем упоминать польские и имперские проекты, конкурировавшие в некоторых регионах современной Украины.
- [18] См.: Andriewsky O. *The Russian-Ukrainian Discourse and the Failure of the «Little Russian Solution», 1782—1917 // Culture, Nation, and Identity: The Ukrainian-Russian Encounter, 1600—1945 / Ed. by F. Kappeler, Z.E. Kohut, F.E. Sysyn, M. von Hagen*. Toronto: CIUS, 2003; Hagen M. von. «I love Russia, and/but I want Ukraine», or How a Russian General became Hetman of the Ukrainian State, 1917—1918 // *Journal of Ukrainian Studies*. 2004. Vol. 29. № 1/2.
- [19] «...украинские народолюбцы, не обращая внимания на благородную часть господствующего класса, как на явление естественное, и поражаясь злоупотреблениями силы со стороны другой, несравненно многочисленной части, как явлением чудовищным, отвернулись от всего, что составляет принадлежность господствующего сословия,

и начали искать истинной человечности только в сословиях труждающихся и обремененных. Роковая крайность!» (Кулиш П.А. Украинофилам. С. 425).

[20] Это позволяет нам предположить, что Плохий мыслит в категориях «мы/Украина» и «Россия/империя», традиционных для разных направлений украинской историографии и публицистики, которые предпочитают не замечать существование иных «народностей/народов» в Российской империи/СССР, кроме украинцев и русских (исключение делается разве что для поляков — еще одного значимого «другого», слишком долго выступавшего в качестве конкурента украинского и имперского/советского проектов, чтобы быть незамеченным), в то время как задекларированный Плохием «имперский контекст» предполагает категорию «империи в разнообразии ее частей».

[21] «.новая некая земля при Днепре, названная тут Украиною, а в ней заводятся польскими королями новые поселения и учреждаются украинские козаки; а до того сия земля будто была пуста и необитаема, и козаков в Руси не бывало» (История Русов или Малой России. С. III).

[22] «.не видал в той стороне, называемой им Украиною, рус-ких городов, самых древних» (Там же. С. IV).

[23] «.изрыгнули писатели оные все свои поношения и всех родов неправды и клеветы на сей народ и на их вождей и начальников, называя их непостоянным и бунтливым хлоп-ством, по своевольству, будто, и буйству своему бунты и нестроения поднявшим» (Там же. С. II—III). «Польские ж историки показывают еще, будто они набирались из разной вольницы или сволочи, и поселены от их королей на пустых землях внизу рек Днепра и Буга» (Там же. С. 18).

[24] Конструирование «древнерусского прошлого» для «Украины» было явлением достаточно новым и спорадическим. В случае с Украиной XVII—XVIII вв. довольно сложно говорить о некоей преемственности с домонгольским прошлым или хотя бы наличии непрерывной традиции представлений о «Руси», на что справедливо указывает А.П. Толочко: Толочко О. «Русь» очима «Украши»: в пошуку самоидентифікацій та континуітету // Доповщ на II Між-народному конгреса украшю™. Львів, 1994. Ч. 1. С. 68—75.

[25] Подробнее на эту тему см.: Шліхта Н. Елементи річпос-политсько! шеологій та пол^ично! риторики в «Тсторій Ру-ав»// Молода нащя. 2000. № 1. С. 5—23. Эту публикацию С. Плохий однажды упоминает в своей книге.

[26] См., например: Seewald B. Graben für Hitler — Archäologen auf Germanensuche // Die Welt. 2013. 10 Mar.